

В последние годы в российском социогуманитарном дискурсе обсуждение посттоталитарной памяти оказалось невероятно актуальным. Специалисты, ранее мыслившие себя профессионалами с конкретной дисциплинарной принадлежностью, объединились в метадисциплинарные исследовательские поля русскоязычных Trauma/Memory Studies. Сочетание оптики, предметов и объектов аналитики позволило сформулировать внешне объемные ответы на болезненные вопросы современности: чем для (пост)современного мира являются массовые катастрофы Прошлого? Можем ли мы сегодня увидеть не только политические, но и социальные, культурные последствия этих катастроф? Не являются ли экспликации этих последствий травматическими, эвристически недостаточными, отмеченными «нулевой степенью» гуманитарной помощи обществу? Не оказывается ли эта недостаточность следствием символической немоты травматических свидетельств? Каков выход из этой логики мутизма, которая есть признак континуальной, длящейся травмы?

Во многом причина интенсификации аналитики посткатастрофического социума и посттравматической культуры лежит в реактуализации «советского». На фоне дискурсивного возвращения нарративов советской культуры, исследование сегодняшних реалий превратилось в дискуссию о проблемах преемственности (пост)современности и господствовавшего прежде тоталитарного дискурса. В этой ситуации интерес к «постсоветскому» неизбежно трансформировался в озабоченное обсуждение «послесоветского». А изучение недавнего прошлого отечественной культуры переросло в режим научной рациональности, превратившись в ответственное выказывание эксперта. Теперь книги о террористичности советской цивилизации, статьи о присвоении/усвоении памяти о дискриминационных действиях граждан и власти, приведших к созданию стигматизированных сообществ, выступления об ответственности носителей культуры за коммуникативные ситуации и языки, особенно, за язык припоминания, стали аналогом процедуры люстрации.

Эти «инвективы» исследователей направлены на всех агентов культурного и социального строительства и на все сообщества, занятые производством смыслов. Залогом успеха подобных высказываний служит отказ их создателей от логики литаний. Аналитики не требуют признания коллективной вины и, соответственно, виктимизации носителей культуры, пережившей антропологические, социальные, культурные и символические сломы становления и легитимации советского. Их речь строится на

совмещении аргументативной и метафорической манифестации природы травмы и ее символического выражения. В результате внимательный реципиент получает пусть не безоценочные, но аккуратные, хотя эмоционально и окрашенные призывы к коллективной ответственности за травматологию культуры. (После)советским гражданам предлагают распробовать идею не бесконечного отыгрывания произошедшего (в формах триумфальных парадов или траурных lamentаций), а памяти-проработки, которая потенциально ведет к снятию негативных последствий культурного аналога ПТСР.

На наш взгляд, исследовательские интенции «травматологов», несмотря на их позитивный потенциал, строятся на семантических или логических ошибках, превращающих дискурс травмы в дурную бесконечность. В первую очередь при знакомстве с рассуждениями аналитиков травмы о необходимости настройки внимательного отношения к Прошлому становится заметен нарративный фетишизм. Телеология травмы строится на внимательном отношении к словам, смыслам, вещам и ритуалам как системе повествовательных координат, которые должны зафиксировать опыт утраты, разрыва. Однако на месте повествовательной матрицы часто возникает нарратив, прямо или косвенно ведущий к стиранию следов травмы, давшей жизнь подобным рассказам. Так, рассуждения о толерантном отношении к советскому опыту приводят не к открытому диалогу, но к агрессивным столкновениям сообществ, настаивающих на диаметрально противоположном отношении к истории.

Вторая серьезная ошибка подобного рода исследований и их языка заключается в гипостазировании аффективных переживаний субъектов травмы. Настаивая на том, что травма есть нелокализуемое событие, случившееся раньше, чем это необходимо для символической артикуляции, аналитики легитимируют непроговаривание/молчание как реакцию на травму. В результате они демонстрируют indulgence на продолжение исследований, построенных на нарративном фетишизме и на обсуждении субстанций, которые, возможно, и снабжены коммуникативным влиянием, но лишены статуса смысла или ценности.

Итак, как бы ни были привлекательны культуртрегерские возможности такого подхода, они базируются на особом типе социальной дидактики, указывающей на желание установления нового режима порядка. И если в обществе господствующих демократических ценностей, породившем посттравматические Studies, такой социально ответственный активизм ученых есть лишь один из голосов в обсуждении дискурса современности, то в российском обществе, не знавшем люстрации, такой тип исследования всегда опасен профанацией.